

Марта Шарлай

Новое утро Авроры

Рассказы



Марта Шарлай

Новое утро Авроры

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17194271

ISBN 9785447452025

Аннотация

Сборник включает рассказы, объединённые темой женского творчества, которое часто выглядит скорее разрушительным, нежели созидющим. Женщина, одержимая некой «творческой» идеей, отдаётся ей всецело, доходя до самого конца, который чаще всего на языке романтиков означает «до гробовой доски». И вовсе необязательно на этой доске будет написано её имя.

Содержание

Сказки	5
Post-mortem	26
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Новое утро Авроры

Рассказы

Марта Шарлай

© Марта Шарлай, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сказки

(Из дневника маленькой дочери)

Дорогой читатель!

Ты, конечно, понимаешь, что ребёнок не может писать без ошибок. Но чтобы не отвлекать тебя на всякие домыслы о том, что могут означать детские огрехи в пунктуации и орфографии, этот дневник приведён к написанию «взрослому».

Прочти же этот невинный свиток – без конца и начала – детской души и удивишься ей, она будет тебе благодарна.

Я слышала, как мама сказала однажды тёте А.: «Я боюсь умереть». Почему она боится? Я совсем не боюсь. Люди умирают каждый день и каждый день снова живы. Я привыкла. Вот сейчас я живу, мои глаза открыты, и я, даже если не вижу, знаю, как выглядит моя комната. А потом я вдруг больше не буду этого знать, и даже не буду знать, где я. Значит умру. А завтра утром я снова открою глаза. Всё так понятно.

Фей тоже говорит, что умереть не страшно. Фей такой умный. И он может летать. Мне бы тоже хотелось.

Сказка про солнце

Солнце светило ярко и вдруг погасло. Его дети плачут.

Когда я написала сказку про солнце и показала её маме, мама посмотрела на меня страшными глазами. А разве я плохо написала? Когда гаснет солнце, мне хочется плакать, потому что скоро умирать. Ну и что, что завтра я опять буду жива, сегодня-то я умру.

Мама обняла меня, и я почувствовала, как на мои волосы упали капли. Это мамины слёзы. Я не люблю, когда мама плачет. Мне становится стыдно, как будто я у неё что-то стащила или обманула её.

Фей говорит, что мир очень большой. Есть такая страна Африка, например, и там живут жирафы, слоны, носороги и другие животные, которых у нас нет. Мне бы так хотелось увидеть настоящего жирафа, а не того, который в зоопарке, – и обнять его за шею.

В зоопарке есть бегемот, но он больной, бедный, скоро умрёт совсем и не проснётся. Он открывает рот с плохими зубами, а по морде (у него морда страшная, морщинистая,

и кожа трескается по всему телу) текут слёзы. Я громко заплакала, когда посмотрела в его морду и глаза, мама меня взяла на руки, хотя я уже не маленькая, и мы ушли из зоопарка.

А когда мы пришли домой, я написала сказку.

Сказка про бегемота

Жил-был большой и сильный бегемот. Его посадили в клетку. Однажды он умер.

Мама сказала, не пойдём больше в зоопарк. Я с ней согласна.

Что такое зоопарк, я не знаю, но думаю, что это тюрьма для животных. Только я не знаю, что сделал тот бегемот или черный медведь, который сидит за решёткой на асфальте и лапой высовывает под прутья металлический какой-то совок, чтобы ему туда кидали печенье. Я тоже кинула, и он сразу съел, бедный. Он тоже, наверное, скоро совсем умрёт. Я не знала, что животных тоже можно сажать в клетки.

И в цирк я не пойду. Там только клоуны смешные, ну ещё собачки.

А почему, например, лошадей так бьют плёткой? Или верблюда – палкой?

Я сидела в первом ряду. У верблюда подвернулись колена-

ки, которыми он ползал по бортику, и он упал на меня. А потом плюнул. Я же ему ничего не сделала. Я только испугалась, когда он упал. А плюнул он на меня, потому что я маленькая и не стану его бить, а дядьку с палкой он боится, и никогда на него не плюнет. Но ведь можно от палки умереть? Если очень обидно

Когда я была совсем-совсем маленькая, мне снился один сон. Мне было страшно, и я боялась открыть глаза. А сегодня мне опять было страшно. И мне кажется, это был не сон, а только я вспоминала, что было со мной давно-давно, даже ещё до того, как я была младенцем. Но ведь до того меня совсем не было... Я не знаю, но думаю, что всё-таки это *было*.

Я сижу в кровати и болею. Я заглядываю через открытую дверь в коридор и боюсь, что увижу там что-то не такое, как всегда, чужое. И моё сердце начинает так быстро-быстро стучать, и потом разгорается огонь – прямо в коридоре. Он не очень большой, но всё растёт и растёт. Оранжевый, яркий. И я думаю, что это не просто, а должна появиться из него ведьма. И вот он зашипел, стал высоким, а потом низким, и из середины огня показалась ведьма. Она ничего не говорила, только смотрела на меня из огня, и всё. Но у неё злые маленькие глаза, и очень рыжие волосы. Такие рыжие, что страшно. А я подумала, как же мне теперь выйти из комна-

ты, и что я скажу маме – ведь это я сама так захотела, чтобы была ведьма, вот она и появилась. И я не могу её прогнать, я боюсь с ней говорить.

Я заплакала и потом заснула.

Фей говорит, мир такой большой, что его никак нельзя объехать или даже облететь на воздушном шаре или самолёте. Обязательно попадёшь в какую-нибудь страну, которой никто не знает. Но если о ней написать сказку, то никто не поверит, что она есть, потому что сказки всегда фантазия, а фантазия – то, что не бывает. Так говорят взрослые, но я тоже так думаю. А когда я пишу сказки, то они всегда – правда. Наверное, потому что у меня нет фантазии.

А Фей говорит, так не бывает – что нет фантазии. Она есть, только она может спать. Моя, наверное, соня-засоня.

У меня есть один любимый сон, чёрно-белый, как старое кино, которое смотрит бабушка – она говорит, это кино самое лучшее и доброе. Я написала сказку как этот сон.

Сказка про девочку Хилю и Натюрморт

Однажды девочка Хиля оказалась на качели. Она сама не помнила, как там оказалась. Это была не качель, а что-то огромное и страшное. Она сидела в трубе, которую как будто разрезали пополам, её держала какая-то большая

железная рука, которую она не видела, а только чувствовала, и кто-то говорил с ней. Она очень боялась, и ей казалось, что глаза у неё сейчас лопнут, так она боялась. Внизу была вода, и если Хилья сильно испугается, она скатится вниз по трубе и утонет. А Хилья не умеет плавать и боится, что она умрёт от страха. Хилья посмотрела в сторону и видит, что это не карусель, а большое колесо, механизм. Всё движется, страшно гудит, и не понятно где что, и только маленькая Хилья дрожит в трубе и боится скатиться и упасть в воду.

Громкий и страшный голос спрашивает Хилью: «Хочешь быть принцессой Натюрморт?» И Хилья думает: «Натюрморт – это мёртвая». Хилья хочет быть принцессой, но не хочет быть Натюрморт. Хилья заплакала, и тут колесо стало, гудя, опускаться, рука крепко держит Хилью и ждёт ответа. Хилья молчит, и тогда колесо опускается, Хилья падает в воду, но это неглубоко. И Хилья понимает, что она была мёртвая от страха.

Однажды я спросила у мамы (я написала ей в своём альбоме): «Что такое натюрморт?» и мама сказала мне: «Это французское слово, оно означает мёртвая природа. Это рисунок, где изображены фрукты, овощи, посуда или что-то ещё».

А я думаю, почему колесо хотело, чтобы я стала Натюрморт? Не понимаю.

Я не хочу учиться в специальной школе. А в хорошую школу меня не берут. Я сказала маме: «Мама, я не хочу говорить руками и чтобы меня спрашивали руками», мама стала грустная и обняла меня. Я заплакала. Я часто плачу, сама не знаю зачем. Мне горько стало, что я не могу быть со всеми детьми, а только со специальными. Я же всё слышу и всё понимаю, я же совсем-совсем всё понимаю! А мне не разрешают так учиться, а непременно, чтобы говорить руками. Я не хочу. Это смешно и обидно. Мне нравится смотреть, когда люди говорят, и трудно понять, что они говорят, но только нужно слушать слова. И тогда будто слова сами живут, а люди – сами, и только сейчас они соединились. Я придумала игру, только в неё нельзя играть в самом деле: в одной стороне люди, в другой – слова. Нужно соединить ниточкой слова и людей. Ведь можно так ошибиться.

Когда я вижу, что люди говорят руками, я уйду от них.

А Фей говорит, что говорить руками совсем неинтересно. И нельзя сказать тихо или громко, а только всегда одинаково. Фей всегда говорит тихо, чтобы мама не слышала. А когда он бывает у меня, когда мамы нет дома, тогда он говорит громко, и мы вместе громко смеёмся, и мне даже кажется, что я тоже могу говорить, потому что мой смех становится совсем такой же, как у Фея.

Я совсем не грущу, что не могу говорить. Я могу писать. Это тоже интересно. Конечно, хорошо уметь говорить, но, я думаю, хуже не слышать или не видеть. В нашем дворе живёт мальчик, который почти ничего не видит; мне жаль его, и кажется, что он скоро умрёт.

Мне часто снится великан с железными шпорами. Я его очень боюсь. Я слышу его, как он идёт по улице и поднимается по лестнице. Он шагает, и весь дом дрожит. И я забираюсь под кровать, но никак не могу пролезть под неё быстро, и он успевает войти в дом. Несколько раз он меня не нашёл, а вчера – взвалил на плечо и понёс.

Я теперь каждый день рисую в моём альбоме. Мама говорит, ей нравится. Я рисую портрет дня. У каждого дня – своё лицо. Я не рисую лиц, а только настроение на этом лице. Конечно, это настроение, которое я вижу. Фей говорит, это очень похоже на его настроение.

А вчера мама сказала тёте А. (я нечаянно услышала): «Она рисует так странно. Сплошная мазня, переход одного цвета в другой, почти никогда нет чёрного, и на этом фоне

одна деталь прорисована особенно чётко. Деталь всегда разная».

Но я не рисую деталей – я не люблю машин; я рисую луч солнца или почки на дереве, или голубой дым из трубы. Я просто не люблю чёрный цвет. Когда я вижу чёрного котёнка, мне хочется нарисовать на его спинке хотя бы одну полочку – беленькую или зелёную.

Сказка про волшебницу

Жила-была одна девочка. Она сначала не умела говорить. Но в её голове всегда сочинялись сказки. И вот пришла однажды ночью волшебница и сказала: «Скажи, девочка, что ты хочешь больше всего на свете, и я исполню твоё желание». И девочка сказала, что больше всего на свете она мечтает красиво говорить – вслух, словами. И волшебница взмахнула своей палочкой, и девочка запела песенку. И такой голос у неё был, что среди зимы цветы зацвели и деревья стали зелёными.

Я не хочу учиться в специальной школе. Сегодня меня туда отвели посмотреть, какие там дети и как они учатся. А я так не хочу. И там так тихо кругом, словно все мёртвые уже. Я хочу слышать звуки. Я хочу слышать слова и чтобы со мной разговаривали. А дети в хорошей школе слуша-

ют музыку, я сама слышала, когда с мамой проходили мимо школы около дома.

Я рассказала Фею про своё горе. И он мне сказал, что я должна учиться в хорошей школе, потому что, может быть, так я научусь говорить.

А ещё мы с Феем говорили про то, почему люди кричат и ругаются. Они совсем не понимают, что их волшебница одарила с самого первого дня жизни. И они могут говорить. И слов так много. И можно одно и то же слово говорить всегда по-другому. А они не понимают... Вот если бы мне только повстречать волшебницу – я бы всё-всё сделала, чтобы заслужить голос. Я бы хотела, как у мамы – ласковый. И когда она поёт, я очень люблю слушать – так могу всю жизнь сидеть и слушать. Моя мама не кричит и не ругается. Она только плачет часто и говорит: «Моя бедная доченька. Мой ангелок». А я совсем не ангелок. У меня даже и крылышков нету. И дудочки.

Я не пойду в специальную школу. И в хорошую меня не берут – говорят, что они не берут «сложных» детей. Я не понимаю, что такое сложный ребёнок. Задача бывает сложной, а ребёнок – не знаю. Но теперь я буду заниматься дома. Мне так грустно. Если бы не Фей, я бы совсем была одна. Мама не в счёт – она мама. И Фей всё так говорит, как

я думаю. Всё правильно говорит. Он знает всё на свете, наверное, потому что отвечает мне всегда, даже когда я спрашиваю что-то очень-очень трудное.

– Знаешь, Фей, когда мы ложимся спать, и становится темно-темно, и все люди уже спят крепко-крепко до самого утра, тогда просыпаются игрушки. Я так думаю.

– Да, они просыпаются, когда никто из людей и даже животных их видеть не может. Ну может быть, какой-нибудь добрый пёс, который никогда ни за что не расскажет их тайну. Вот они просыпаются и живут.

– А ты их видел?

– Конечно, нет. Они же могут жить, только если это тайна.

– А я вчера потихонечку открыла глаза, когда было темно-темно и все спали уже. А они сидели на своих местах – ни чуточки не сдвинутые.

– Нуу! Так они же знают, когда кто-то не спит!

– Как знают?

– Чувствуют.

– Чувствуют... Значит, и я могу почувствовать, когда они могут жить?

– Почувствовать можешь, но если они почувствуют, что ты почувствовала, то сразу станут как ни в чём не бывало – сядут обратно на свои места и притворятся неживыми.

Вот такой Фей умный. Очень умный. А я думала сначала, что смогу увидеть, как живут куклы.

Я думаю, они живут, как мы, только совсем иначе.

Мне купили дудочку – деревянную, расписную. Я хожу и дую в неё, только не очень хорошо получается. Но если долго учиться, то, наверное, я смогу. Фею моя дудочка понравилась. Он рассказал мне одну сказку.

Сказка про Ветер и Веточку

Жила-была одна Веточка. Это была Веточка-Лоза. Когда Ветер совсем разыграется, она любила поиграть с ним – он её колыхал, и она поддавалась нарочно. И Веточка пела и пела, а Ветру казалось, что это поёт он. И однажды Ветер так заигрался, что свалился в заросли Терновника, и тот стал ворчать. Ветер засмеялся и завихрился вокруг Терновника, напевая свою песенку – он думал, что поёт песенку, которую по правде пела Веточка. И вот у него не выходит, а выходит свист, и Терновник заплакал так, как по стеклу скребут. И Ветер испугался своего голоса. И вот он услышал красивый голос и красивую мелодию – это пела Веточка. Он поспешил на голос. И вот когда он подлетел, то увидел, что Веточку срезает какой-то человек. Ветер стал рвать на человеке волосы и одежду, стал отбирать из рук Веточку – Ветер думал, что она погибла. Человек ловко мельтешил ножичком – и вот веточку, которую уже было не узнать, он приложил к губам. А Ветер успокоился и стал слушать – это его Веточка пела. Он узнал её голос. И он подхватывал её песенку и поднимал её вверх, и она становилась ещё красивее, эта песенка. И все её слышали и бы-

ли очень счастливы.

Я знаю, как это, когда человек не умирает.

Мама мне рассказывала, что некоторые люди живут долго-долго и никак не могут умереть. Они хотят умереть, но никак не могут. И вот жила-была одна моя какая-то не очень родственная бабушка, старенькая уже, и хотела умереть. Она лежала в кровати, думала, что её подожгли, и кричала – ей было жарко и больно. А один её сын, что ли, сказал – надо рубить крышу, чтобы её душа увидела небо и чтобы Боженька её увидел, тогда Он пожалеет старушку и заберёт к себе, и душа её успокоится. Так и сделали, и бабушка умерла.

Я всё думала, как это – когда хочешь умереть и не можешь. Ведь я никогда не хотела умирать. А сегодня мне приснилось, что я с высокой-высокой горы прыгаю вниз – в пропасть. И вот я лечу, и уже кружится голова, но никак не падаю совсем, а лечу медленно вниз – вниз и вниз, – а слева и справа скалы, и только между ними кусочек пространства, а на самом дне пространства – смерть. И во сне я всё сердилась и боялась, что так долго не могу разбиться. Мне казалось, что я уже давно упала, но почему-то провалилась – и снова лечу. Это было похоже на падение Алисы в Стране Чудес – так же медленно и странно. Алиса не боялась, а я

чуть-чуть боялась всё-таки. И ещё мне было досадно, что я никак не увижу конец пропасти.

Сказка про злого слона

Жила-была одна девочка, которая очень любила слонов. Она их никогда не видела, но всё равно любила. «Когда-нибудь я увижу живого слона и слонёнка, – думала девочка. – А потом я уеду в Африку, и буду жить там и кормить слонов».

Но однажды девочке приснилось, что большой слон идёт за ней в квартиру, а она совсем не хочет, чтобы он шёл. Девочка побежала по ступенькам вверх, она очень устала, потому что бежать было высоко. Но слон, такой огромный, совсем не отставал. А девочка думала, что она скажет маме, если мама увидит слона. Ведь слоны не могут ходить по лестницам.

Когда девочка забежала в квартиру и стала закрывать изо всех сил дверь, слон просунул свою огромную голову с ушами, похожими на воздушных змеев, которые жили сами по себе, и не давал двери закрыться. Девочка так испугалась, что не могла говорить, а только плакала, и громко стучало сердце. Девочке казалось, что слон слышит её сердце, и поэтому ещё больше злится – ведь она боялась его.

У неё уже почти не было сил. А слон всё мотал головой и кричал, но как-то про себя. Девочка слышала его голос так, будто она сидела у слона внутри.

Мама смотрела на дочку, как она закрывает дверь изо всех сил, но не помогла. И когда девочка испугалась так, что подумала, что сейчас умрёт, она крикнула: «Там слон!» Но мама только удивлённо подняла брови.

Фей сказал, что скоро я стану говорить, как он. Конечно, я не поверила. Но он считает, что я так хорошо играю на дудочке, что непременно стану говорить. И правда, обидно не говорить, когда в голове много мыслей. Я рисую теперь так, что мама понимает мои картинки и даже повесила на стенку мой закат. Это закат неба. Интересно, можно ли нарисовать закат моря? Нет, не закат, который падает на море, – а настоящий – чтобы все видели, как море заходит. Ведь и у него где-то есть место, где оно поднимается, ещё почти белое-белое, а потом заходит, фиолетовое, красное, потом тёмное. А ещё можно нарисовать, как на небе закат, а на море восход. Я думаю только, что маме бы эта картинка не очень понравилась. Ведь она же, наверное, не видела, как всходит море. И подумает, что это фантазия, сказка.

Сегодня произошла одна история. Мы с мамой ходили

в магазин. Там было душно, мама сказала, чтобы я подождала на улице. И я пускала мыльные пузыри. Мне нравится это занятие. Их сперва так много – целое стадо. А потом они все разлетаются и лопаются. И становится немного грустно, потому что такая короткая у них жизнь. Зато от них весело. Какой-то малыш стал ловить их руками и нарочно лопать. Я ушла подальше.

Мама так долго не было, мне казалось, что прошёл уже целый час. И я пошла её искать. Я её нашла в очереди в кассу, и она сказала, что долго надо ещё стоять и чтобы я сама шла домой. Я пошла. Около дома я ждала и ждала. Мама всё не шла. Все пузыри уже кончились. Мне было грустно.

Мама пришла нескоро и вся заплаканная. Она говорит, что я всё выдумала, что она не говорила мне идти домой. Только я помню точно, как мама сказала мне идти. А мама опять ругает меня, что я сочиняю: «Снова сказки!» – говорит она.

Кто сочиняет сказки (Не сказка)

Сказки сочиняют сказочники. Дети могут стать сказочниками, если у них есть фантазия. Чтобы сказка была сказкой, нужно, чтобы там было волшебство, чтобы всё было не как на самом деле. В сказках можно сделать всё, как ты хочешь. И можно всё менять.

Есть на свете дети, которые сочиняют, но не могут менять, и говорят не про то, что хотят, а про то, что на са-

мом деле. Поэтому они не сказочники. У них нет фантазии. Фантазия – это как мыльный пузырь. Только жаль, что её можно легко лопнуть. Вот фантазию таких детей, которые сочиняют всё как на самом деле, наверное, кто-то когда-то лопнул, только они не помнят, кто и когда. Наверное, им очень хочется быть сказочниками, и они расстраиваются, что не сочиняют сказки.

Мама говорит, у неё бессонница и тревога. Она часто обнимает меня и говорит, что умрёт от горя, если со мной что-нибудь случится. Со мной ничего не случится. Я так ей и написала. А ещё я ей написала:

– Мама, когда я вырасту, я буду писать сказки.

– Про что? – спросила мама.

– Про всё. Про весь мир.

– Как кипит, наверное, в тебе фантазия. – Это мама сказала. Но очень грустно.

– Но ведь фантазия – это хорошо?

– Не знаю.

Мама знает. Она только почему-то не хочет мне сказать. Может быть, фантазия – это болезнь? И как это – «кипит» фантазия? Я не понимаю. Если это болезнь, то хорошо, что у меня её нет, наверное.

У меня тоже бессонница. Но я придумала надевать сол-

нечные очки, и тогда мне засыпается. Наверное, это и не солнечные очки, а очки для сна. У Оле-Лукойе были зонтики, а у меня очки.

Я не понимаю одной вещи. Ведь я же с Феем всегда говорю – всегда-всегда. Я же не пишу ему записочек, как маме. Значит, я могу говорить. Но почему я могу говорить с Феем и не могу – с мамой? Наверное, люди, когда они могут сказать друг другу всё-всё и не говорят больше никому другому, а только одному – наверное, тогда у них есть такие особенные слова, которые они понимают, а другие нет. И вот поэтому Фей понимает меня. А другие нет. Но мне всё равно грустно, потому что я хотела бы говорить с мамой словами. Она читает мне и рассказывает разное, а я не могу. Потому что мне лень писать. Мне маму жалко – она часто плачет. Это она из-за меня плачет. Потому что я не говорю. И потому что не иду в специальную школу. Но я не хочу говорить руками. Я хочу слушать слова.

Когда я не могу заснуть и очки не помогают, я встаю у зеркала и смотрю прямо в свои зрачки. Смотрю, смотрю, пока

мне не станет страшно, пока не станут ледяными руки и ноги. Мне кажется, что из зеркала выглядывает кто-то страшный. А это ведь не кто-то – это я сама смотрюсь в зеркало. Наверное, в каждом человеке спрятано чудовище, которое можно увидеть ночью, в темноте, когда никто тебя не видит. Утром и днём другие могут подсмотреть. Чудовище – самый большой секрет человека. Только ночью он сам может рассмотреть чудовище, которое прячется в нём. Вчера мне стало так страшно, что я прыгнула в кровать и заплакала. А ещё я подумала, что и в маме живёт это чудовище. Мы все заколдованные.

А в Фее чудовище не живёт. И Фей не смотрится в зеркало.

Сказка про колдовство

Жил-был один человек. Его кто-то заколдовал, и каждую ночь он превращался в чудовище. Чудовище шло по городу, опустив печальную морду, потому что так было уже сто миллионов ночей. Утром человек был весёлый, он пускал мыльные пузыри и дарил детям леденцы на палочке – малиновых и лимонных дракончиков. А вечером он превращался в чудовище и приходил в сны к тем детям, которым утром дарил леденцы. Он пугал их и даже насылал на них болезни, пока они спали, потому что дети очень боялись, и у них сердце билось то быстро, то медленно.

И вот когда человек-чудовище брёл по городу в сто мил-

лион первую ночь, он встретил волшебника, который сказал, что человек может расколдоваться, если научится летать. «Если ты полетишь, освободишься от чудовища, потому что чудовище слишком тяжёлое, чтобы летать».

И человек стал радостным, потому что теперь он знал, как освободиться от колдовства.

Фей сказал – только бы мама не узнала, – что я могу летать. Тсс, тсс. Я уже пробовала. Я встала на подоконник, зажмурилась и представила, как полечу. Нет, совсем не как птица и не как Супермен, совсем иначе. Может быть, как Венди, когда она дружила с Питером Пэном. Я могла лететь медленно и быстро, и даже танцевать в воздухе. Да, и тут Фей взял меня за руки, и мы полетели вместе. И так это здорово было, и ветер в лицо дул. И под нами крыши домов и деревья. И я видела даже лозу, которую любит ветер. Ту лозу, из которой какой-то человек сделал мою дудочку. Фей мне показал. И ветер пел нам. И облака были так близко. Они же совсем не похожи на вату, а на пыль. Но только это приятная пыль. Просовываешь голову в облако, а оно – бац – и нету его. И на тебе только какая-то пыль. А Фей говорит, что это звёздная пыль. Только я что-то не пойму, как может она быть от облака. Наверное, он ошибается. Но Фей научил меня летать. И завтра, завтра – Фей сказал – мамочки! я так

побыстрее хочу дожить до завтра – завтра он придёт посмотреть на мой первый полёт в одиночку. Мы договорились, что полетим далеко-далеко... Где много-много дудочек играют мелодию, которую любит ветер больше всего. И вообще, Фей говорит, что, наверное, это не лоза одна поёт, а что они с ветром вместе так поют. А терновник с ветром поёт по-другому. Но ветер любит петь с лозой, потому что у неё голос такой, такой... Фей сказал, что он ещё не придумал слово. Он не всё знает, конечно, никто не знает всё на свете. И завтра, может быть, он скажет, какой голос у лозы...

2006 г.

Post-mortem

– Здравствуйте, я Агата.

– Проходи, Агата, я ждал тебя.

– Вы ждали меня? Неужели? Но зачем?

– Нет, погоди задавать вопросы. Как хорошо воспитанной барышне тебе полагается сесть в это кресло, напротив меня, и слушать всё, что я скажу.

– Обязательно? Не могу ли я пойти домой. Я устала.

– Возможно, позже. Сейчас ты должна делать так, как я прошу.

– Это кресло такое чёрное... Его кожа такая холодная...

– Усаживайся удобнее, откинься к самой спинке.

– Не говорите слишком размеренно. Не слишком тихо.

И слишком громко не говорите тоже.

– Но почему ты сама шепчешь?

– Я шепчу?

– Именно так.

– Нет, я не люблю шёпота. Не надо, не искушайте мои страхи, не вызывайте мой ужас...

– Нам придётся поговорить, Агата...

– Нет-нет. Я не хочу говорить...

– Однако нам *придётся*.

– Почему?

– Твои родители нашли тебя обмершую от страха. Ты пом-

нишь где?

– ...

– Одна твоя прядь – совершенно чёрных, как крыло чёрного лебедя, волос – побелела. Ты знаешь, почему это случилось?

– ...

– Агата, не молчи. Нужно рассказать. Это важно. От этого зависит твоя жизнь.

– Моя жизнь определена.

– Ты помнишь, где и когда тебя нашли родители? Что предшествовало тому?

Агата молчит, смотрит не мигая.

– Хорошо. Я понимаю тебя. Воспоминания твои тяжелы и болезненны. Давай оставим их пока. Посмотри за окно, Агата. Что ты там видишь?

– Солнце.

– Ещё?

– Небо в прорехах ветвей... Птица шмыгнула с ветки... Сорвался жухлый лист...

– Что-нибудь ещё?

– Ведут кого-то... Держат под руки... Он, наверное, мёртв. Но они тащат его. Они называют это «для памяти»... Разве это не уродливо? Даже натюрморт выглядит жутко.

– Нет, Агата, это просто инвалид, но он ещё жив. И может быть, он будет жить ещё очень долго.

– Кто придумал фотографироваться?

– Не имеет значения.

– Он был дьяволом.

– Просто очень изобретательным человеком. И хотел запечатлеть прекрасный миг красоты и юности, быть может.

– Это от дьявола. Всё сохраняет память.

– Так уж и всё? Ну что ж. Не могла бы ты вспомнить свой самый прекрасный день?

– Целый день?

– Да. Или момент. Самый прекрасный. Когда ты была очень счастлива. Когда тебе было отратно на душе и вокруг плясали солнечные зайчики.

– По ту сторону не бывает солнца.

– Мы не будем говорить о той стороне. Расскажи о своём прекрасном дне.

– Мой последний день рождения...

– Вчера?

– Нет.

– Но ведь последний твой день рождения был вчера.

– Нет.

– Когда?

– Давно, очень давно. Тогда я ещё не была с седой прядью.

И мои глаза были синие.

– А сейчас? Какого цвета твои глаза?

– Не знаю, я не видела их с тех пор.

– Ты не смотришь в зеркало?

– Нет. Нельзя. Они придут. Они приходят. Это их двери.

Зеркала... глаза... Они нападают... Не отпускают... Хотят остаться здесь... Они цепляются за руки, за волосы... Мои волосы красивы?

– Безусловно. Я никогда не видел таких прекрасных волос, даже белая прядь их не портит.

– Им они тоже, наверное, нравятся...

– Мы договорились: сейчас ты будешь вспоминать свой самый счастливый день. Самый прекрасный. Солнце, лёгкий ветерок, и твои чудесные волосы развеваются, и твои синие глаза смотрят на этот мир с любовью... Тебе же нравится этот мир?

Молчит.

– Агата?..

Не отвечает, взгляд её застыл.

– Агата?

– Зачем вы зовёте меня, когда я здесь? Не зовите меня, я никуда не ушла. Они ещё не пришли за мной.

– Кто должен прийти?

– Марк, Минна. Я жду их. Но может явиться другой. Мерзкий. Он звал меня: Агата, Агата...

– Во сне?

– Во сне. Нет, я не помню. У него светлые глаза. Светлые, словно вода в фарфоровом кувшине. И чёрные усы. Чёрный костюм. Шляпа. Что-то в нём... нечеловеческое... Когда он сгибает свою спину, я каждый раз вздрагиваю.

– Агата, ты должна вернуться в свой прекрасный день. Пе-

ред тем как он наступил, ты хорошо спала?

– Да. Тогда меня ещё ничего не мучило.

– Итак, ты хорошо выспалась, потянулась в своей постели, крепко зажмурившись, да? Твои прекрасные волосы размялись по подушке. На щеках заиграл лёгкий утренний румянец. Ты поднялась с кровати и подошла к окну, верно?.. Там чудесное утро встречало тебя весенним светом, весенним воздухом.

Я открыла окно. Ветер тут же дунул в занавески – они стали как паруса. Белоснежные тюлевые паруса несли меня в неведомую страну. «Агата!» – это мама назвала моё имя, войдя в комнату. Она целует меня в щёки, гладит по волосам и говорит: «Нужно одеться, твой отец ждёт нас к завтраку. Осталось ровно пятнадцать минут до того, как ты снова родишься».

Моё утреннее платье висело на спинке кресла. Нежного кремового цвета, без единой складочки, с белым кружевным воротничком и широким поясом – такого цвета, как бутоны шиповника под моими окнами. Такого же цвета туфли стояли внизу, у кресла. И шёлковые чулки – тонкие-тонкие. Белые шёлковые чулки... Я надевала их осторожно, чтобы не сделать зацепки. «Твои первые шёлковые чулки, ты наконец доросла до них», – сказала мама. Мои волосы сверху пе-

ревязали кремовой лентой, в тон платья.

Я вбежала в столовую к отцу. Он читал газету за столом, уже накрытым к завтраку, но, как только увидел меня, произнёс моё имя и сложил газету вчетверо. Он обнял меня и поцеловал. Я села на своё место. Мама налила чай. Мне добавили молока – как я люблю.

Потом родители стали говорить, какой взрослой я стала. Их лица светились изнутри. Так бывает, когда душа спокойна, когда мир кажется прекрасным. Мама улыбалась, и отец тоже.

К обеду мы ждали гостей – кузин моей матери с семьями. Марк и Минна тоже должны были прийти. Мы с самого детства играли вместе. Они часто оставались у нас по выходным, или меня отправляли к ним. Марк и Минна мои хорошие друзья. Мы никогда не ссорились. Они близнецы, но не очень похожи друг на друга. У Марка тёмно-русые волосы, у Минны – каштановые с рыжиной. Она очень красивая, Минна. Она старше меня на два года. И Марк, разумеется, тоже.

Марк посещает колледж, и поэтому мы сейчас видимся реже. Он пишет мне письма. Ему нравится атмосфера в колледже. Но приходится слишком много времени отдавать науке. Марк хочет провести каникулы в нашем имении – «с Минной или нет, без Минны даже лучше». Недавно от него пришло послание. Я читала его снова и снова, пока не запомнила наизусть.

Твоих очей – как полный небосвод,
Вобравший всю, что есть на свете, влагу,
Грозящийся пролить потоки вод, —
Я пленом окружён. Не делаю ни шагу,
Чтобы тебя не видеть тут и там —
Везде-везде, как будто бы ты призрак.
Мне говорят (но знаю это сам),
Что помешательства то верный признак.

Так будь везде – не тенью, но душой.
И я, мой ангел, буду век с тобой.

Мне кажется, это не хуже Петрарки или даже Шекспира. Я шептала этот сонет перед сном и потом слышала ночью с голоса Марка. С того самого дня я жду Марка больше обычного. словно бы он произнёс надо мной заклятье.

Иногда родители позволяют мне отправиться к колледжу. Тогда наш кучер Януш отвозит меня. Я жду конца занятий, потом мы с Марком идём в кафе поблизости и пьём кофе. Кофе третьесортный, поэтому Марк просит добавить в кофе немного бренди. Бывает, я велю Янушу заняться приятными ему делами, а мы с Марком идём к реке, и там он читает мне стихи – свои и другие. Он говорит, ни с кем ему так не бывает хорошо, как со мной. Мы вместе с самого детства, но всё, что было раньше, не считается. Так говорит Марк.

Потом Януш везёт меня домой. Коляску то и дело трясёт,

и нетвердой рукой я делаю наброски в своём альбоме. Голова Марка, его силуэт, когда он один стоит у реки, а я тенью у него за спиной.

Река катит изумрудно-бирюзовую воду, перебегает по камням, изредка наплывают волны. Утка садится на более спокойное место, но тут раздаётся короткий выстрел. Собака несётся к добыче, хватая бедняжку за крыло. Я чувствую, как хрустит это крылышко, как обмякает тело мёртвой птицы в пасти спаниеля. Его мокрые уши словно появившие лопухи. Он отряхивается, после того как кладёт добычу у ног охотника.

А потом пустоши – и какая-нибудь одинокая странница в чёрной одежде. Трудно ступает она в своих тяжёлых ботинках: ищет счастье. Но счастье на пустошах не растёт.

Быстрый всадник мчится на вороной лошади. Только пыль столбом.

А вон крыши нашего имения. И облако покоя над ним. Вон церковь. И колокольный вздох.

Когда мы подъезжаем к дому, Янушу приходится будить меня: оказывается, я сплю. И сколько же картин я пропустила, а, Януш? Он улыбается. «Осторожно, пани Агата, не вывихните ножку». Януш, что ты будешь делать сейчас? – спрашиваю я. «Освободить лошадь от ярма». Я усаживаюсь на скамейку неподалёку и рисую этого чудесного человека. От него пахнет соломой и лошадьми. Меня это не смущает.

Когда я показываю ему рисунок, он вытирает глаза от слёз,

словно бы я совершила нечто непостижимое его сердцу. «Это только рисунок, Януш, мне он легко дался». «Рожа моя недостойна глаз и пальчиков пани Агаты». И я смеюсь этому трогательному выражению застенчивости. «Ты очень красивый, Януш. У тебя милое, светлое лицо». Он прячет лицо за гривой лошади, старательно её приглаживая грубой щёткой.

Но это было так давно. Не меньше трёх недель назад. А может, уже и месяц прошёл. Я давно не видела Марка. Но в мой день рождения он должен приехать. Марк непременно приедет, с Минной или без.

После завтрака – время подарков. Семейное жемчужное ожерелье дарит мама. Отец – целый чемодан масляных красок. Он говорит, пора взглянуть на моё увлечение всерьёз, раз я большую часть времени посвящаю ему.

– Что было потом, Агата? Приехали гости? Марк?

– Приехал господин Дидмэн.

– Господин Дидмэн? Именно так его звали?

– Да. Он приехал, чтобы фотографировать нас. Отец пожелал сделать несколько семейных снимков в день моего совершеннолетия.

– Тебе тоже хотелось этого?

Не отвечает, задумавшись.

– Почему ты молчишь? Ты не находишь занимательным этот новый вид искусства? Я имею в виду фотографирование.

– Нужно на четверть часа застыть, чтобы потом выглядеть как манекен. Глаза, фигура без единого движения. Кости и мышцы затекают.

– Утомительно, стало быть, позировать. Но ведь ты и сама рисуешь с натуры. Люди позируют и тебе тоже.

– Нет.

– Нет?

– Нет. Я не люблю, когда они замирают. Мне нравится, когда они дышат, мигают, поворачиваются на внезапный звук, вдруг улыбнутся. В живописи главное – взять движение жизни, увековечить его, а не маску, не подобие живого.

– Движение?

– Да.

– Сами фотоснимки тебе тоже не нравится разглядывать?

– Да.

– Да, то есть не нравится?

– Да. Тогда я ощущаю, насколько лучше живопись.

– Но сейчас можно делать и цветные карточки.

– Всё это глупости. Какого цвета мои глаза?

– Синие.

– А небо?

– Разное.

– То-то же. Небо разное. И глаза мои разные. Сейчас на-

верняка почти тёмные.

– Да, верно. Синее синего.

– Это потому что сумерки. На снимке этого не выйдет. На снимке нельзя смешать краски, добавить света, положить тень...

– Ну хорошо, вернёмся в твой радостный день совершеннолетия. Господин Дидмэн приехал к вам...

– У него в ландо был штатив.

– Он фотографировал вашу семью...

– ...Штатив, отчасти похожий на ухват для печи. Отец спросил: «Зачем вам этот предмет?» Улыбка Дидмэна пробралась сквозь плотные усы...

– Нет, Агата. Я бы хотел поговорить о другом. Тебе понравилась фотография вашей семьи? Ты ведь была очень красива в тот день. А как же Марк? Марк приехал? И Минна? Это были хорошие снимки? Расскажи...

– О каком снимке сказать? Их было несколько. Каждый из них лжёт. Складки на них никогда не шевельнутся, глаза никогда не моргнут. Те, кто больше не дышат, и живые... все мёртвые.

– Я понял. Сейчас, Агата, сосредоточься на другом. Ты сама сказала – это был самый отрадный день. Марк приехал, не так ли?

– Да. Марк приехал. Я его не видела долго.

– Вот-вот, расскажи мне про Марка. Этот молодой человек доставил тебе немало радостных минут. Правда? И его

сестра Минна. Вы ведь дружили с детства. Итак, к обеду приехал Марк...

Перед тем господин Дидмэн улыбнулся в свои противные усы. Его чёрный костюм – словно к похоронам. Я не могла смотреть на него. На эти усы... На эти глаза, слишком светлые, словно вода в фарфоровом кувшине. Да, они такими казались мне тогда. И я опустила голову. «Нет-нет, – сказал Дидмэн, – юная пани должна смотреть вот сюда – представьте, что отсюда вылетит птичка». Приманка для детей. Не мне на неё клевать.

Я смотрела вдаль, на дорогу, где вскоре показалась коляска Андерсов. Словно бы с облаков являлись они, и я улыбнулась. Солнечные лучи сопровождали клубы взметаемой копытами пыли. Ветер бросился навстречу повозке, и деревья пришли в трепет, как бы приветствуя наших гостей. Я задумалась, представляя, каким может явиться передо мной Марк, и совсем позабыла о Дидмэне. «Оп!» – воскликнул он, и усы его распахнулись, пропуская широкую улыбку. Он чуть наклонился, как будто желая сделать поклон после удачного фокуса.

Дидмэн стал выписывать отцу квитанцию. В руках он держал кожаную папку, из неё выпал снимок. Медленно, словно лист с дерева, плавно опустился он на траву. В тот мо-

мент я, подобрав юбку, как раз бросилась навстречу повозке, приближающейся из-за поворота, и едва не наступила на фотографию. Я подняла снимок и не тотчас смогла оторвать взгляд от него. Молодая красивая женщина держала спящего ребёнка на руках, её муж стоял позади старинного дивана, положив одну руку ей на плечо, другой крепко сжимал он трость. Женщина улыбалась (приходила на ум Джоконда), и необыкновенно осмысленным был её взгляд. Словно бы она говорила им: теперь я всё знаю. Мужчина был напряжён; улыбки у него, судя по всему, не выходило.

Дидмэн взял у меня снимок и показал отцу. «Никогда не отличите!» – он сказал это так, словно хотел пробудить похвалу к своим заслугам.

Они мертвы, сказала я. Тошнота подступила к моему горлу. Я забыла о коляске Андерсов. Мой отец переспросил, о чём я говорю. Ребёнок и мать мертвы. Дидмэн воскликнул: «Потрясающая проницательность!»

«Это противоестественно», – заметил отец. Дидмэн ответил: «Люди всего лишь хотят никогда не расставаться с любимыми, любой ценой, а эта не самая дорогая».

И когда Дидмэн садится в своё ландо, которым сам и управляет, я вижу, как в закрытую часть усаживается та самая молодая женщина с младенцем на руках.

Когда гости останавливаются у наших ворот, Дидмэн уже далеко.

Марк выпрыгивает из коляски и целует мне руку. Мы

идём в дом. Я не помню, что мы говорили. Говорили ли мы вообще?.. Минна не приехала. И я спросила, где она. Но тут услышала, как пани Андерс говорит, что Минна заболела, у неё температура, и ей лучше, конечно же, остаться дома, в постели. Это значит, они пробудут недолго. Мой день рождения обещал быть грустным. «Я останусь здесь на два дня», – шепнул Марк мне на ухо, когда увидел, как я сникла.

– Что подарил тебе Марк, Агата?

– Образы.

– Образы?

– Да. В тот день. То есть вечером. Когда все легли спать. Мы были вдвоём в моей комнате. Я показывала Марку наброски, сделанные во время возвращения в имение. После нашей последней встречи. И краски, которые подарил мне отец. Я хотела поскорее сделать настоящие картины.

– Что сказал Марк? Ему понравилось твоё искусство?

– Искусство? О нет. Это только первые шаги. Искусство – это Гейнсборо, например. Как он умеет передать румянец – нежный и томный или возбуждённый, флирт и кокетство или невинность, грациозность или скромность. А его пейзаж? словно бы декорации, которые того и гляди затрепещут, столько в них напряжённой неподвижности. Сколько они ещё удержат её?.. А его лес – лес Гейнсборо – это мой

лес, лес моих снов. Я хотела бы остаться там навсегда...

– Так значит, ты показывала Марку твои зарисовки...
А потом?

– Да, и некоторые репродукции Гейнсборо. Я люблю их рассматривать. Мне нравится такая атмосфера – полусна. Деревенская девочка с собачкой и кувшином. Вы видели её? Это точно девочка из моего сна. У Гейнсборо она сама впадает в сон.

– Агата?..

– Почему вы зовёте меня, точно я не здесь?

– Ты всё время ускользаешь, дай тебе только лазейку. И не дай – находишь её. Мы говорили о Марке. Вы смотрели твои рисунки и репродукции Гейнсборо... Но что подарил тебе Марк в твой день рождения?..

Вечером мы стояли у окна. Луна проливала свой желтоватый свет на деревья во дворе, на траву. Свет попадал и к нам в окно. Марк сказал: «Твои волосы блестят, как крылья чёрного лебедя». Мы кормили чёрного лебедя на озере, недалеко от нашего дома, – он почти ручной. Узнаёт нас. Марк тронул мои волосы – провёл по ним рукой. Потом он прижал меня к себе. Грудь мою сдавило, и дыхание остановилось. Мы оказались так близко, это нельзя было преодолеть.

Есть критическое расстояние. Когда тела соприкасаются

друг с другом так плотно, когда дыхание смешивается, когда ты не подчиняешься больше собственной воле, остановиться нельзя. Сначала мне было зябко, но вдруг жар охватил и нас, и всю комнату. Я не чувствовала, но почти видела языки огня – они лизали стены и оконные рамы. Марк сжимал меня сильнее и сильнее. Силы покидали меня. Тело казалось невесомым, но вместе с тем невыносимым. Я не сходила с места, а при этом неведомая сила выталкивала меня из моего же тела.

За окном в это время разыгрывалась другая сила. Только в саду всё было спокойно, и внезапно налетел ураган, деревья стало клонить к земле, срывало листву и целые ветки. Куст шиповника облетел в одно мгновение – цветы растеряли свои чудесные розовые лепестки.

Вдалеке коляска устремлялась в почерневшее небо. Краски вокруг мешались сами, по собственному произволу, создавая всё больший и больший мрак. И только одна белая тень остановилась в саду. Вокруг неё установилась тишина, ураган закручивал всё кругом, но белая тень стояла, замершая, под раскидистой бузиной, которой не меньше ста лет. Я взгляделась. Это была женщина с фотографии, и её младенец в руках – свёрток, тихий, без плача и крика. Она посмотрела прямо на меня. А в следующее мгновение я увидела её уже иначе. На ней было красивое платье: пышное внизу, сверху оно невесомым лифом обнимало её плечи и грудь. В руках она держала веер, точно собралась им обмахиваться. Её бле-

стящие золотые волосы были уложены высокой причёской, внизу туго завитыми локонами касаясь нежной шеи. Ребёнка в её руках не было.

Но она обернула своё лицо в сторону – где лунная тропинка прерывала бесноватость ночи. Там на маленьких шатких ножках топал младенец. Казалось, он направлялся к самой луне. И нарядная мать, приподняв юбки, устремилась подхватить своего ребёнка. Мгновение – и ураган смёл лунную дорожку. Словно захлопнулась книга, и персонажи остались внутри, под толстым переплётом.

Я подумала тогда: ведь они неживые, поэтому нестрашно. Нельзя умереть дважды.

Когда ставни хлопнули и задрожали стёкла, когда ветер выдохнул свой хохот в занавески, когда полетела на пол ваза с букетом белых роз, преподнесённых мне Марком, когда, наконец, мольберт повалился на бок и набросок мой был смят, дрожь охватила меня, и я отступила в глубину комнаты, ожидая возмездия.

Марк закрыл окна, задёрнул плотные ночные шторы и обнял меня, мокрую от обрушившегося на нас через окно косого дождя. Лицо Марка тоже было мокро, с волос капало, и одежда напиталась влагой.

«Как бы нам не заболеть», – сказал Марк. И мы снимали друг с друга одежду и согревались от жара собственных тел, кутаясь в одеяла. Когда он в очередной раз с новой силой обнял меня, комната вспыхнула. Всё жарче и жарче станови-

лось, всё ярче разгорался огонь, и стал он солнцем, в центре которого полусидел младенец. Взгляд младенца был так серьёзен и строг, каким не бывает у маленьких детей, если они не мертвы. Но он умер, этот ребёнок с фотографии Дидмэна. Вдруг ребёнок зашевелился, скинул свои пелёнки, а в следующее мгновение уже стоял на ножках и улыбался, трогательно и глуповато, как свойственно младенцам. И снова хлопнули ставни. Задрожали стёкла, скрылось солнце, только что заполнившее мою спальню, исчез младенец. Птица, ударившись о стекло, влетела в комнату и упала на пол, бездыханная. Я вскрикнула, накрылась одеялом с головой. «Я уверен, что крепко закрыл окна. Ничего не пойму», – сказал Марк, и голос его был беспокойным. Мы лежали, обнявшись, до утра. Я дрожала. И когда Марк собрался перейти в свою комнату, чтобы избежать гнева старших, я спросила, выжила ли птица. «Не было никакой птицы, Агата, тебе, верно, приснилось». Он поцеловал меня и вышел. А я встала к мольберту, чтобы окончить работу и поскорее начать новую. Та женщина и младенец поразили меня, мне хотелось нарисовать диптих, где смерть их обращалась в жизнь вечную и прекрасную.

Мы провели вместе субботу и воскресенье. А в понедельник родители Марка засобирались обратно. Марк попросил позволения остаться у нас, и тётя Эмма сказала, что в таком случае пришлёт за Марком кучера через два дня. «Твоя сестра больна, – сказала тётя Эмма Марку, – нехорошо оставлять

её скучать в постели». Марк уверил – как только вернётся, не отойдёт от Минны ни на минуту.

Так мы остались вдвоём ещё на два дня. Мы ходили к озеру кормить лебедей, катались на лодке, гуляли в лесу, и я рисовала Марка. Где бы мы ни были, мне хотелось смотреть на него, хотелось удержать его прекрасный облик.

– Вы с Марком были *очень* близки?

– Мы больше не оставались друг с другом ночью, если вы это хотите узнать.

– Почему?

– Не знаю... Я рисовала, проводила за мольбертом всю ночь, вспоминая его облик в полдень, под лучами солнца...

– Марк не позировал тебе?

– Нет, мне это не нужно. Мне нравилось вспоминать его там, на воле...

– На воле?..

– Да, на воле, у воды, среди вереска, на фоне голубого небосвода, в шуме ветра, обрывающего ягоды с бузины... Ночью он становился далёким, таким далёким, как будто одного из нас не существовало... Я вспоминала его или грезила о нём... Я представляла его совсем в другом пейзаже, моего Марка – такого, каким его никто больше не знал и не мог видеть...

– И Марк соблюдал это правило? Он не входил к тебе ночью?

– Нет, не входил. Мы расставались в полночь, когда я слышала клаксон...

– Клаксон?

– В полночь я слышала клаксон ландо, на котором приезжал к нам Дидмэн. Я слышала его, хотя не совершенно отчётливо... Словно это был сигнал для меня...

– Сигнал к чему?..

– К мольберту. Я садилась и вспоминала. Дидмэн сторожил меня – я должна была ему показать, что его фотография не нужна. Что она никогда не сможет заменить живопись. Та женщина и младенец... Они тоже сторожили... Я видела их каждую ночь. Они приходили... Женщина с ребёнком на руках становилась возле меня, за моим плечом.

– Они говорили что-то?

– Нет, только очень легко улыбались, как на фотографии Дидмэна.

– И что же дальше? Марк через два дня уехал, и ты осталась грустить?..

– Через два дня, точно как сказали родители, приехал их кучер...

Кучер слез со своего места и, изминая в руках кепку, потупившись, вымучил – Минны нет больше, бедняжка скончалась от непонятной болезни, угорела в лихорадке. Я не слышала этих слов, но я стояла в дверях дома, на крыльце, и ви-

дела, как Марк становится белее, чем мамины белоснежные простыни. Я сама выкрикнула, словно бы точно слышала всё: Минна! – и подбежала к Марку. Он стоял ни жив ни мёртв, произнёс: «То-то я ночью метался в кровати, словно в адовом кипящем котле». Кучер вытер кепкой глаза – одним движением – и заметил: «Точно, нынче ночью и отдала Богу душу бедняжка Минна».

Я не помню, как рассказывала весть родителям. Отец к тому времени уехал по своим делам, а мама распорядилась насчёт обеда. Что я говорила, как отвечала мама – ничего этого память не сохранила, да имеет ли это значение. Мы сели с Марком в повозку и молчали до самого особняка Андерсов. Всю дорогу я представляла себе Минну в её новом состоянии, я собиралась нарисовать её портрет, чего бы мне это ни стоило. Я вспоминала её в нашу последнюю встречу – её причёску, рыжеватые туго завитые локоны, прибранные вверх короной; её лимонное платье, её смеющиеся глаза, её быстрые движения. Я видела её совсем живой. Но когда мы подъезжали к особняку, я уже совершенно явственно представляла бледную, измученную жаром Минну с закрытыми веками, с разбросанными по подушке неприбранными волосами, Минну с холодными членами. Фарфоровую, как её большая кукла. Минна лежала в постели. Такой я её и увидела. Совсем такой. Мы только вошли к ней, а мне казалось, я смотрю на неё уже битый час. Минна была измучена. Минна спала вечным сном.

Я тронула Марка за руку, но он бросился к кровати Минны и встал на колени, чтобы оплакивать сестру. Он плакал беззвучно, не произносил ни слова. А когда он всё-таки произнёс её имя, Минна как будто чуть-чуть улыбнулась. Я вздрогнула, окрылённая надеждой, но тут же всё прошло – и через окно, в саду, я увидела уже знакомую мне женщину с ребёнком. Впереди неё шёл фотограф, Дидмэн. Она словно бы вела его. Он тащил свой аппарат и подставку.

Я выбежала на крыльцо – не хотела пустить его. Кричала ему, чтобы он убирался вместе со своей подставкой, вместе со своим чудо-аппаратом. Тётя Эмма окликала меня и просила успокоиться. «Доставь нам последнюю утеху, – сказала тётя. – Мы хотим видеть вас вот так – втроём. Неразлучными, как и раньше, пока Минна была среди нас».

Я вернулась в дом и села на диван в холле. Я сидела, опершись руками о край дивана, весь свой вес перенеся на руки, на ладони. Я смотрела в пол – не хотела наблюдать их хлопоты. Марк сел подле меня. Минну убрали в её комнату. Потом нас позвали, когда всё было готово. Если бы мы не знали, что Минны больше нет, мы могли бы очень удивиться – словно бы тяжёлая весть оказалась на поверку обманом. Бледная, исхудавшая, но всё-таки уловимо прекрасная Минна, одетая в голубое атласное платье, с розочками вокруг выреза. Преображённая Минна, всегда очень подвижная, с быстрой мимикой, казалась сейчас задумчивой... Она смотрела туда, где вскоре должен был появиться фотограф.

Она ждала, когда Дидмэн весело скажет: «А теперь замрите и улыбнитесь». Улыбка Джоконды блуждала в уголках её губ.

Я не могла приблизиться к козетке, на которую мне указали, я потеряла все свои чувства – все, только смятение мешало дышать, запутывая клубок в груди – так наматывают шерсть, пока один узелок не зацепится за другой, и все труды пойдут прахом... Нас с Марком усадили, а Минну, поддерживая штативом, поставили позади... Её руки положили одну на плечо Марку, другую – на моё плечо. Марк дрожащей ладонью накрыл её руку на своём плече. Нужно было сидеть замерев четверть часа, но я сидела бы и дальше, до самого утра, до скончания века, если бы тётя Эмма, с мокрыми глазами, но без единого всхлипа, не разняла сплетений рук и не отправила меня, поручив заботам комнатной девушки, прислуживавшей до вчерашнего дня Минне.

– Тебе было страшно, Агата? Страшно сидеть рядом с умершей?

– Страшно? Нет. Тревожно. Я не хотела этого. Они думали выдать мёртвое за живое. Они хотели абсолютного сходства, а мои портреты Минны были забыты. Словно бы я не старалась передать в них всю Минну, с малейшим движением её блестящих глаз, её губ, складывающихся по-кукольному, когда она обращалась к французской речи. Она люби-

ла поговорить по-французски.

– И что случилось потом?

– Её похоронили на следующий день...

– Ты видела фотографии мистера Дидмэна?

– Их принёс почтальон через несколько дней. Несколько одинаковых фотографий. Одну отдали мне. «Это на память, – сказала тётя Эмма, – о том, как неразлучны вы были...» До гробовой доски, так говорят... До гробовой доски...

– И что ты сделала с фотографией, Агата?

– Я положила её в книгу Данте. Минна любила Данте. Я положила фотографию между страниц и забыла о ней... Я помнила Минну. Мне не нужны фотографии, чтобы помнить. Этот штатив... Не могу забыть его... Не могу... Ужасный... Холодный... Мёртвый... Палка вместо позвоночника, холод вместо тепла... Не могу... Не могу...

– Хватит, Агата. Обратись в другой день... Дидмэн ушёл, исчез, унёс с собой все страшные инструменты... Их больше нет.

– О! Неправда... Они стоят там, в его ателье... Они стоят там и переживут всех нас... Они стоят там... И этот штатив... Дьявольское изобретение...

– Агата, мы говорили о том дне, когда приехал Марк. Он приехал в день твоего шестнадцатилетия, и ты была счастлива. Вы ходили вместе на прогулки... А потом? Вы оставались друг с другом?..

– Минна... мешала... Не давала покоя. Ей не хотелось уходить.

– Как это? Она снилась тебе?..

– Нет. Она приходила. Она пришла в ту же ночь ко мне в комнату. Марк был со мной. Мы лежали как брат и сестра, крепко обнявшись, не произносили ни слова. Мы горевали. Мы оба горевали о Минне. Потом она вошла...

Минна сказала, что хочет видеть фотографию. Хочет видеть, насколько хороша она там. «Ведь я не давала своего согласия», – сказала она. И глаза у неё были на мокром месте. Я села в кровати, но не могла говорить. Впрочем, Минна сама говорила. Всё говорила и говорила о том, что мы подло поступили, оставив её одну, что теперь она не будет участвовать в наших беседах и прогулках, что никогда ей не поехать в Париж, никогда не надеть свадебного наряда... Она пыталась разбудить Марка – она звала его, но он не слышал. Он спал, он очень устал. Он лежал, ресницы и веки его дрожали. Может быть, он слышал её, но не хотел отзываться.

Минна плакала, ходила по комнате, открывала окно – оно стукнуло, ветер вторгся в нашу комнату, в наше тепло... Я испугалась, подбежала и захлопнула рамы. Я попросила Минну не беспокоить нас. Я сказала: всё-таки это неправильно, входить к нам в комнату, когда мы вдвоём. Она зло рас-

смеялась и ответила, будто это нам не следовало бы удивляться. Что приличные девушки вообще не позволяют себе такого – Марк ведь её брат... А когда я снова попросила её уйти, она с досады сбросила с подоконника цветочный горшок. Он разбился, земля рассыпалась. Я почувствовала себя совсем без сил – легла и постаралась заснуть. Сон не шёл ко мне. Минна стояла перед моим взором – досадливая, какой никогда не была. Тогда мне подумалось: как смерть меняет нас...

Когда утром я едва открыла глаза, непоколебимая мысль поселилась в моей голове – я должна была нарисовать Минну. Может, тогда она перестанет являться к нам. Может, она только и ждёт того, чтобы занять своё место рядом с живыми. Я решила написать её парадный портрет, где бы она была настоящей красавицей, какой мы все её и помнили всегда.

Я писала Минну месяц. Марк наезжал к нам каждые выходные. Мы гуляли, как прежде, вспоминали его сестру. Он горевал. Конечно, он горевал. Хотя я и обещала всегда быть рядом с ним. В последний раз Марк приехал в тот день, когда я закончила портрет Минны. Он смотрел на него, и слёзы лились по его лицу. Марк своими губами прижался к губам нарисованной Минны. Он забрал портрет сестры, чтобы повесить в их доме, в холле, где бы Минна каждый раз встречала входящих своей нежной улыбкой, нарядная, словно собранная к балу.

Марк не был у нас две недели, когда моя мама получила

письмо от своей старшей кузины. Та сообщала, что Марк лежит в лихорадке, и врачи не могут распознать его болезнь. Он бредил: звал то Минну, то меня; то мне, то Минне обещал, что всегда будет рядом, что никто не сможет разлучить нас.

Я тотчас стала просить мать заложить коляску и отпустить меня к Андерсам и не хотела слушать причин, по которым этого сделать нельзя. Я не допускала мысли, что болезнь могла перекинуться на меня, но верила: моё присутствие поможет Марку выбрать мир живых. Тогда я сразу поняла – мёртвые борются за него; Минна хотела сманить Марка. Минна полагала, у неё больше прав. Они раньше почти не разлучались. Минна была моей лучшей подругой, теперь она стала моим противником. Мир мёртвых выступил против меня в её лице. Мне ничего не оставалось, и я приняла эту борьбу. Нужно было спасти Марка.

Я села в коляску, Януш сказал своё «Ну, с Богом, пани Агата», и рядом с дверцей показалась та женщина, которая уже являлась мне. Ребёнка она держала у груди. Она улыбнулась мне, и я, не сдержавшись, крикнула: «Убирайся!». Страшный озноб охватил меня. Всю дорогу до имения Андерсов, пока Януш пел нежные народные песни, я боялась снова увидеть улыбку той женщины. Всю дорогу я молилась. Януш остановился у одного костёла. Он добрый и чуткий, этот Януш. Спросил: «Не хочет ли пани Агата молитовку замолвить за пана Марка? Матка Боска милосердная, непре-

менно поможет пану. И пани поможет». Я вылезла из коляски, поцеловала Януша в щёку и поблагодарила за его доброе сердце.

В костёле я долго стояла у Матки Боски, зажгла свечу, свеча тут же погасла. Ко мне подошёл ксёндз, он спросил: «У пани беда стряслась?» Я разрыдалась, и он снова спросил: «О ком пани просит Матку Боску?» Я назвала имя, и ксёндз сказал: «Ступайте с Богом, я помолюсь о вашем Марке».

Януш повёз меня дальше. Мы ехали по тем дорогам, по которым путешествовали с Марком и Минной. Ненадолго я уснула, а когда открыла глаза, передо мной сидела она, одетая в голубое платье, в котором её хоронили. «Там дождь, – сказала Минна, – боюсь промокнуть». И улыбнулась. Я возненавидела эту улыбку: словно бы Минна знала больше, чем могла знать я, и скрывала. Я почувствовала слабость и не могла говорить. Зато Минна не умолкала весь оставшийся путь. Она то напевала глупую песенку, то предавалась воспоминаниям. И чем больше Минна говорила, тем меньше сил во мне оставалось. Я хотела крикнуть Янушу, чтобы он остановил, но горло словно бы перехватила верёвка. А Минна время от времени напевала.

– Что напевала Минна?

– Я плохо помню... Кажется, это:

Путешественница, не плачь.
Твоё горе скоро изольётся в реки,
утихнет в шуме ветвей,
сгорит в лучах солнца,
потонет в глухоте ночи.
Не плачь, милая путешественница,
твой путь скоро окончится,
уже близко те ворота,
к которым ты стремишься.

– Я не знаю подобной песни. Возможно, это один из девичьих городских напевов.

– Нет. Это Минна сама сочинила.

– Она пела её раньше?

– Нет, впервые я услышала её тогда, в коляске.

– Ты дремала, Агата?

– В тот момент я совершенно не спала. Я как раз проснулась, но у меня кружилась голова от слёз.

– И что произошло в имении Андерсов? Каким ты нашла Марка?

– Очень слабым. Он бредил, как и писала тётя Эмма. Звал меня, потом Минну. Он говорил, что ему невозможно жарко. Но окно в спальне было распахнуто, и, как только я зашла в комнату, меня затрясло от озноба. А когда я присела на краешек его кровати и закрыла глаза от усталости, мне показалось, будто я сижу в склепе.

– Минна тоже была там?

– Она не оставляла нас ни на минуту. Она ходила по комнате, или сидела на подоконнике, или качалась в кресле рядом с кроватью Марка. И когда он звал её, она тут же с готовностью протягивала к нему руку, отводила прядь с его лба.

– И что же случилось потом?

– Я не вынесла. Честной борьбы не могло получиться.

Тётя Эмма предупредила меня, что не позволит находиться в комнате Марка, если я не возьму себя в руки. Когда Минна снова подразнила меня: она сказала, Марк принадлежит ей по праву крови, а потому к ней он должен прийти, а не со мной остаться, – я запустила в неё бронзовым подсвечником. Он угодил в оконное стекло, и утром дяде Эдварду пришлось вызывать стекольщика. В ту ночь похолодало, стал хлестать дождь. Я сама пошла разыскивать кусок фанеры, чтобы закрыть окно на ночь. Януш помог мне выпилить нужный размер и вставить в оконную раму.

Минна не унималась. Она ходила по дому, её голос, её песенка разносилась по всем комнатам. Тётя Эмма спросила меня: «Агата, почему ты поёшь?» У неё было такое бледное, встревоженное лицо. Я уверяла, что не пела. «Это Минна. Она нарочно – она хочет отнять у нас Марка». Тётя Эмма присела рядом со мной и стала утешать меня. Ей это трудно

удавалось: она сама не могла сдержать слёз.

Вечером следующего дня у меня случился жар. Меня уложили в бывшую комнату Минны. Она ходила подле и всё приговаривала: «Разве это не чудесно, снова быть втроём, вместе, как раньше?»

Ночью я пробралась к Марку. Он наконец уснул. Лицо его в лунном свете выглядело особенно измождённым. На тумбочке возле кровати стояла фотография, где мы втроём – с мёртвой Минной, поддерживаемой штативом. Руки с трудом повиновались мне, пока я вырезала булавкой Минну. Этой булавкой крепилась брошь к моему плащу. Я лила слёзы и молилась Матке Боске. Минна стояла на улице, под ливнем. Её одежда обвисла и прилипла к телу, она была похожа на нищенку. Её волосы казались редкими, липли к лицу и шее. В этот момент Минна выглядела такой несчастной, и я крикнула: «Минна, прости меня!» Она исчезла.

Потом я легла рядом с Марком на кровать, обняла его и уснула. Наутро он пришёл в сознание, немного говорил со мной и попросил горячего чаю. Я радовалась, что победила. Я думала, я отняла его у смерти, у Минны. Весь день Марк чувствовал себя лучше. Его щёки порозовели, и взгляд утратил, казалось, лихорадочный блеск. Он пил чай, ел бульон. Мы запрещали ему говорить, но он иногда вставлял слово-другое и обещал скоро встать на ноги. «Тогда я поеду к твоим родителям свататься», – сказал он. Он полусидел на кровати, иногда закрывал глаза и проваливался в сон.

Я рисовала его голову. Мне казалось, всё теперь позади – страх, его болезнь, мой спор с Минной. Я хотела занять себя, пока Марк спал, пока он был ещё нездоров, пока жуткий осадок раздражал мои нервы.

Тётя Эмма позвала меня к столу. Её муж только что вернулся из поездки, и она распорядилась об обеде. «Кризис миновал, Эдвард, – рассказывала она за столом. – Температура спала, и сегодня Марк даже поел бульон. Теперь он точно пойдёт на поправку. Агата не отходит от него. Разве может наш мальчик не выздороветь?» Дядя угрюмо и без аппетита ковырял свой любимый бигос, оставив почти нетронутым говяжий росул. Тётя Эмма, конечно, не могла не заметить тревоги мужа, но обошла её молчанием. Она храбрилась. На самом деле её лицо оставалось подёрнуто тинной многодневной бессонницы, и веки были окрашены болезненной краснотой. Я попросила разрешения вернуться к Марку, и меня с облегчением отпустили.

Я продолжала рисовать его портрет, когда он вдруг назвал меня Минной и протянул ко мне руку. Я замерла, гадая, внезапный ли это бред, или Минна снова здесь. Марк продолжал звать. «Ну подойди же. Подойди». И когда я сделала шаг к нему, он добавил: «Ты тоже здесь, Агата. Я так рад». Я подала ему руку. Его рука была ледяной. Рядом стояла Минна. Она улыбалась ему, а он смотрел на неё и, казалось, ничего и никого вокруг больше не видел. Минна стала разъединять наши руки. Я приговаривала шёпотом: «Не трогай, Минна.

Поди прочь...»

– Значит, улучшение в здоровье Марка было временным, и Минна вернулась именно в тот момент, когда ты, Агата, не ждала её?

– Да. Она победила.

– Марк умер тогда же?

– Как только она взяла его за руку, он повернул лицо ко мне и улыбнулся. Он сказал: «Моя любимая Агата тут, со мной» – и тут же закрыл глаза.

– Как ты чувствовала себя потом? Что делала?

– Я закрылась в комнате с Марком, обняла его и лежала. Тётя Эмма и дядя Эдвард стучали, дёргали ручку, уговаривали меня открыть. Я сказала: «Не отдам его никому. Остаюсь с ним. Вам придётся похоронить и меня тоже».

– Ты не рисовала портрет Марка больше?

– Нет, это был не портрет.

Когда Марк закрыл глаза, я тоже уснула с ним рядом. Мне снилось, что я стою у небесных золотых ворот и стучу в них. Никого рядом. Я стучу и стучу, пока не падаю в пе-

сок, в пыль, и моё светлое платье пачкается. Я думаю: теперь в этом платье меня точно не пустят. Я плачу и прошу открыть мне дверь. Я проделала большой путь, у меня нет больше сил. «Кого вы ищете?» – слышу над собой. Марка, говорю я. Только думаю, что мне уже не найти его. И тогда ворота открываются. Передо мной стоит Марк: это его лицо, только обросшее бородой. Это его улыбка, которую борода не может скрыть. Это его фигура. Я бросилась к нему, и он обнял меня. В своём счастье я совсем забыла, что хотела попасть за ворота. Он покрывал мои щёки поцелуями.

И тогда, проснувшись, я стала рисовать снова. Я видела другую картину – там Марк открывал заветные врата. Он улыбался и был добр. Он протягивал мне руку, он принимал меня всем сердцем, он показывал мне райский сад. Януш принёс мне мой чемодан с красками и новый холст, и я рисовала, пока Марк лежал на кровати бездыханный и улыбался ангельской улыбкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.